

Листая недавно вышедший сборник статей и воспоминаний Ивана Алексеевича Бунина под общим названием «Окаянные дни» (издательство «Советский писатель», М., 1990), читатель наткнется на статью, которая носит странное название — «Из «Великого дурмана».

Возможно, что Бунин прав и мы просто «еще не совсем твердо» умели «ходить на задних лапах». Вопрос в том, стоило ли нам твердо на задних лапах сейчас. Над этим надо думать.

Какое впечатление произвела лекция Бунина на слушателей? В дневнике жены Бунина Веры Николаевны Муромцевой-Буниной есть запись: «8,21 сентября (1919 г. — В. Д.), <...> Ян (Бунин) — В. Д.) совсем охрип после лекции.

Все желающие попали. Слушали опять очень хорошо. Ян читал лучше, чем в прошлый раз, с большим подъемом. Хорошо написан конец. Но все же с некоторыми мелочами я не согласна.

(неисповедимы пути Господни), он находится где-нибудь в нашей стране. В монархической газете «Единая Русь» (№ 35, 1919), тоже выходившей в Одессе, было помещено объявление, что в скором времени в издательстве на паях «Русская культура» выйдет книга академика И. А. Бунина «Великий дурман».

ТОЛСТОЙ говорил, что многое совершенно необъяснимое объясняется — иногда очень просто: глупостью.

В моей молодости, — рассказывал он, — у нас был приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последний грош заводную канарейку.

Да, большую роль играет в человеческих делах и простая человеческая ограниченность, умственная скудость, слабость внимания, логики, наблюдательности, вялость и распухшие мысли.

Но помимо всех этих качеств, равно как и многих других, низких и корыстных, есть и другие «явные» черты на все тех, что вольно и невольно содействовали всему тому кровавому безобразию и ужасу, среди которых мы живем уже третий год.

Из жизни, из литературы брались только то, что есть вода на революционную мельницу, остальное пускалось мимо ушей, замалчивалось.

Вот, например, Глеб Успенский. Сколько жесточайших характеристик народа! «Нет, не о человеческом достоинстве говорят мои воспоминания...»

Все в деревне несчастны, бешены, алы, подлы... Молодость души, ум, могучий и крошечный тип — все это до тех пор, пока мужик во власти земли... Препре тут, где жили звериным обычаем, вносил свет угодник, иннок... теперь остался только Каратаев и хищник...

Почему, говорили мне не раз, вы берете только возмутительные явления? Но я обречен на подбор этих ужасов, ибо есть господствующее в деревне... Вот деревенский кулак, публицист дом держит — и все им восхищаются: «умел нажить!» — все ему холонки услуживают и восхищаются с радостью:

«Уж оно-то меня — и холон-то я и подпол-то я!» Вот молодой парень, какая природная кровожадность, какая глубокая ненависть к своему же брату мужику! Любит смотреть на смерть животных, на их страдания, сжигает целый фартук шенят в печке — и весел... Весь деревенский ум, талант идет на кулачество, и злорадство в основе всей такой деятельности... И никто не ценит ни своей, ни чужой личности...

Все говорят сами же про себя: «палки хорошей на нашего брата нету!» — так писал Успенский. Но из него брали только нужное для революционной мельницы.

И Успенский же опровергал, например, меня; им же пользуюсь, рассекать и учил меня насчет народа последний аптекарский ученик, ныне сделавший из русского мужика социалиста, республиканца.

Всего лет пять тому назад, мне, жившему тогда не в какой-нибудь зырянской глуши, а в Орловской губернии, не раз приходилось слышать, как мужики, эти самые социалисты-то, всерьез рассуждали о том, что где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиной.

Но какое дело нашим революционерам до этой кобылы! Обо мне неизменно говорили: «ну, конечно, художественный талант у него и такой и сякой, а все-таки все это так, да не так и все-таки он не мужик, а про мужика может по-настоящему сказать только мужик».

— да, даже и такие махровые глупости говорили обо мне, совсем упустив из виду, что для того, чтобы писать, например, «Короля Лира», вовсе не обязательно быть самому королем, и что я мог спросить моих критиков: как же вы-то, не будучи королями, решаетесь критиковать «Короля Лира»?

В прошлом июле, в Одессе, я слышал, как прощавал своих товарищей один красноармеец, в бархатном кресле сидевший на часах, все

время игравший затвором винтовки и поразивший близилево проходивших мимо него «граждан» своей разломанной палкой, картузом на затылок и салыными волосами, напущенными на мутные, сонно-неприязненные глаза.

А Петербург весь под стеклянным потолком будет. Так что ни дождь, ни град, ничего... А ведь как вознесли мы того самого солдата, которому нужно было привязывать к левой руке сено, а к правой солому, чтобы он мог в первые недели казарменной учебы отличить левую руку от правой, и о прохождении которых унтер-офицерской «словесности» рассказано столько смехотворных анекдотов!

Как кричали и кричим мы на весь мир, что этот красноармеец есть пламенный и сознательный участник «мировой социальной революции»!

В четырнадцатом году орловские бабы спрашивали меня: — Барин, а что же это правда, что пленные австрийцы держат в квартире и кормят будут?

И отвечал: — Правда. А что же с ними делать? И бабы спокойно отвечали: — Да порезать, да покласть.

Как быты! Да порезать, да покласть. А ведь как уверяли меня господа, начитавшиеся Достоевского, что эти самые бабы одержимы великой жалостью к «несчастнейшим» вообще, а к пленному врагу особенно, в силу своей кровной принадлежности к «Христовому братству».

А ведь как топтали на меня ногами мои критики и что бы сказали про меня, например, критик Скабичевский, разбиравший всю жизнь произведения о народе и однажды признавшийся мне с идиотической радостью, что он никогда за всю свою жизнь не видал ржаного поля!

И все это не шутки и не мое личное дело, не мои счесть с моими читателями, — это дело, эти счесть общественные, тесно связанные с огромнейшим бедствием всей России. Я касаясь литературы, ее деятелей, ее знатоков и изобразителей народа потому, что все те, которые так много способствовали всему тому, что случилось и большинство которых еще и теперь вольно и невольно, способствуют продолжению этого случившегося, весьма и весьма питались в своих идеологиях и в своих знаниях о народе, именно литературой. А литература эта была за последние десятилетия ужасна. Деды и отцы наши, начавшие и прославившие русскую литературу, не все же, конечно, «по теплым водам» ездил, «меняли людей на собак» да гуляли с книжечкой Парни в своих «парках, среди искусственных гротов и статуй с отбитыми носами», как это кажется писателям нынешним: они знали свой народ, они не могли не знать его, живя с ним в такой близости, они были плоть от плоти, кость от кости своего народа и не имели нужды быть корыстными и несвободными в своих изображениях его, и все это недурно доказали и Пушкин, Лермонтов и Толстой, и многие прочие. А потому что было? А потом начались как раз несвобода, начались разрывы с народом, — несвобода хотя бы потому, что стало необходимым служить определенной цели, освобождению крестьян, а разрыв в силу ухота писателя в город. И знание народа стало слабеть, а нарочитое изучение его не пошло на лад: записал

кое-что Киреевский, Рыбников, сходил Якушкин раз, другой в народ, поспорил во хмелю с каким-то исправником — и конец. И пришел различие, во-первых, гораздо менее талантливым, чем его предшественники, а во-вторых, угрюмым, обиженым, пылкий горькую — почитайте всех этих Левитовых, Решетниковых, Орфановых, Николаев Успенских, — и вдобавок, уже ступило тенденциозный, пусть с благими целями, но тенденциозный, да еще находящийся в полной зависимости от моды, от направления своего журнала, от идеологии своего кружка и в самом лучшем случае, т. е. при наличии большого таланта и благородства, человек с разбитым сердцем, как, например, Успенский Глеб. А дальше что? А дальше количество пишущих, количество профессионалов, а не прирожденных художников, количество подделывающихся более или менее талантливо под художество все растет, и читатель питается уже мастерской, либеральной живильностью, обязательным, неизменным народоловством, трафаретом: если лошадь, то непременно «россиант», если мужик на козлах, то непременно «мужичонка», все новоязную эту пристыжную «вытянутую кнутом», если уездный город, то непременно свинья в грязи среди площадей, да герань в окне, если помещик, то непременно ларь, зыб, чернокопый земский наездник, а за спиной у него — «железные густые сливки, сдобные печенье собственного изготовления Марфы Поликарповны, ярко вычищенный самовар», если деревня, то «дохматые избенки, жмурящиеся друг другу и как-то пугливо взирающие на проезжего» — и, Бог мой, сколько легенд о жестокох крепостного права и о Разине, слышанных буд то бы на охоте: «случилось мне однажды с ружьем и собакой забрести в глухие привольские леса; долго ходил я в поисках живности, а день меж тем клонился к вечеру, а дождь между тем все усиливался, так что приходилось уже серьезно подумывать о ночлеге...» — где, конечно, и должна быть услышана легенда. А дальше что? А дальше уже нечто ужасное по литературности, по дурному тону, по лживости, по лубку, — дальше Скиталец, Горький, тот самый Горький, который на моих глазах, в течение целых двадцати лет, буквально ни разу, ни единого дня не был в деревне, не был даже в уездном городе, если исключить один месяц в Арамаесе, и даже после восьмилетнего пребывания на Капри шагу не сделал, возвратившись в Россию, дальше Москвы, а все пишет да пишет на героический лад о русском народе, ушибая критика и читателя своей наигранной внушительностью, своим литературным басом, своей «красочностью».

О народе врал по шаблону, в угоду традициям, дабы не прослыть обскурантом и блудом дару круглому невежеству относительно народа и особенно врал литературу, этот главный источник знания о народе для интеллигенции,

та невежественная и безграмотная литература последних десятилетий, которая уже спокойно заносит теперь в число своих изображений деревни описание «колосистого пшена», «цветущей поляны», «голубей, сидящих на березах», цветов, которые «поспевают» в саду, — та литература, которую Толстой очень часто называл «переселенной карикатурой на глупость», «сплошной подделкой под художество», сплошной фальшивкой.

Крыленко, Дыбенко... Чехов однажды сказал мне: — Вот отличная фамилия для матроса: Кошкодавленко... А мы-то и не предчувствовали этого Кошкодавленко и очень удивились Дыбенке!

Раз, весной пятнадцатого года, я гулял в московском зоологическом саду и видел, как сторож, бросая корм птице, плававшей в пруду и жадно кинувшейся к корму, давил каблучками головы уткам, был сапогом лебедя. А прудом домом, застал у себя В. Иванова и долго слушал его высокопарные речи о «Христовом лике России» и о том, что, после победы над немцами, предстоит этому лику «выявить» себя еще и в другом великом «задачнике»: идти и духовно просветить Индию, — да, не более не менее, как Индию, которая по старым нас в этом просвещении этап тыщили на три лет! Что ж я мог сказать ему о лебедях? У них есть в запасе «личины»: лебедя сапогом — это только «личина», а вот «лик»...

Как интеллигенция почерпала свои знания о народе? Помимо литературы — еще и посредством общения с народом, а общение это было, например, такое: Поздней ночью, едучи из гостей или с какою-нибудь заседанием на стареньком гнущом извозчике по улицам Москвы или Петербурга, позывывая, спрашивали: — Извозчик, ты смерти боишься?

И извозчик машинально отвечал дураку бабрину: — Смерти? Да чего ж ее бояться? Ее бояться нечего. — А немцев — как ты думаешь, мы одолеем? — Как не одолеть! Надо одолеть.

— Да брат, нао... Только вот в чем заминка-то... Заминка в том, что парца у нас немка-то, да и царь — какой он, в сущности, русский? — Вот вам и готова твердая уверенность, что наш «мужичок мудро относится к смерти» и непоколебимо убежден в победе. Вот вам и чудо-богатырь, и «богососец», и «Христовый лик протест», который, «если бы его не спавили, да не держали бы в рабстве»...

Думали и твердили все поголовно, с детской восторженностью, в начале марта семнадцатого года: «Чудо, великое чудо! Бескровная революция! Старое, насилье стившее рухнуло — и без возврата!»

Что? Богососец? Чудо? Бескровная? Трезвый «богососец» сотворил такое бескровное чудо, перед которым померкли все чудеса, сотворенные им во хмелю. Толки о чу-

Иван БУНИН

Великий дурман

Из лекции, прочитанной в 1919 году в Одессе

де оказались чудовищными по своей легкомысленности и недальновидности. Да и насчет старого ошиблись. Старое повторилось, чуть ли не йота в йоту, только в размерах, в нелюбости, в кровавости, в бессовестности и полноте еще неслыханных. Нет, «не прошла еще древняя Русь!» Я утверждал это упрямо в свое время, утверждал и теперь, — увы, с еще большим правом.

На всех перекрестках твердил: «В русском народе произошел огромный сдвиг, он растет не по дням, а по часам. Пришла великая война — взгляните, как сознательно встал он во весь рост на борьбу с немцами милитаризмом! Совершилась величайшая в мире революция — и взгляните: ни капли крови! Да здравствует раскрепощенный солдат-гражданин!»

«Вот тебе и «сдвиг», и «во весь рост», и «ни капли крови», и «солдат-гражданин»! Раскрепощенный по указу № 1, авторами которого были — какая опять ужасающая нелепость — какой-то Стеклов-Нахамкев и какой-то алковат Соколов, которому месяца через два после того, на фронте, куда он поехал уже военным комиссаром, один из этих солдат-граждан так ахнул ведром в голову, что он был, по газетным известиям, «ниже пояса залит кровью»... Вот меня прости, я, помню, написал тогда на газете: «Прочел с удовольствием!»

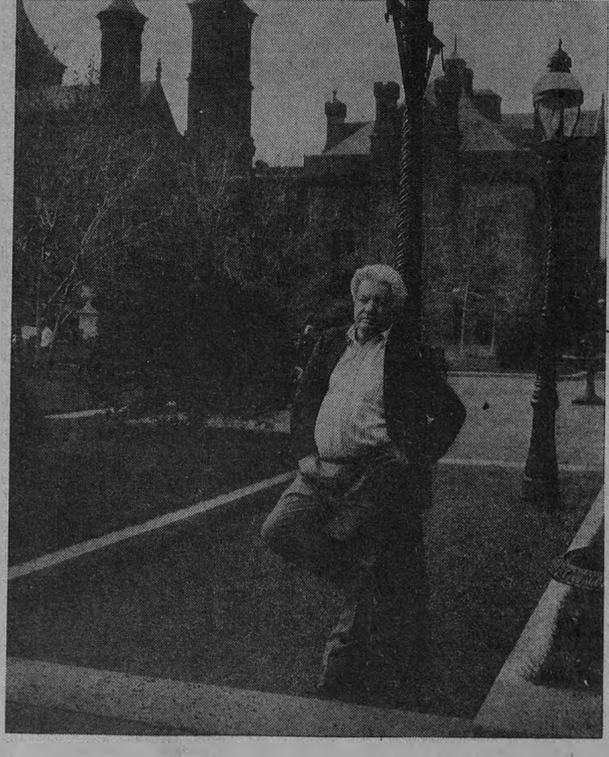
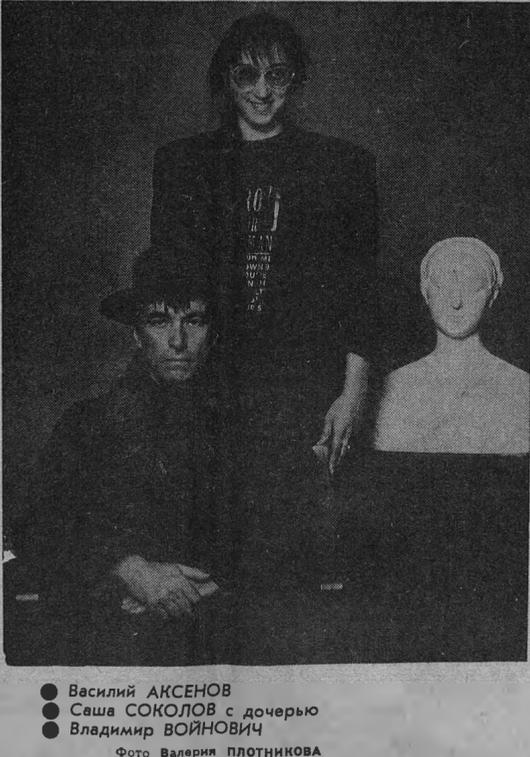
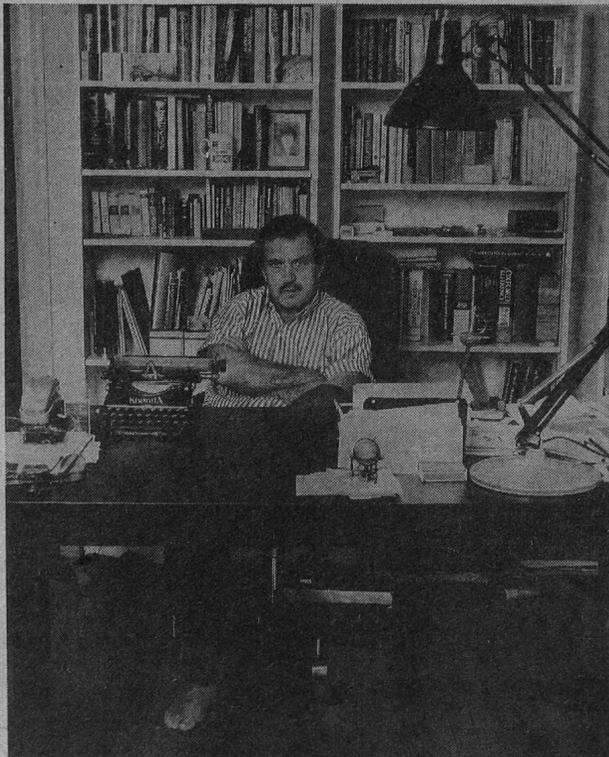
Случилось то, чему не подберешь имени. И это случившееся можно было предугадать, и мы его не предугадали, да и не желали предугадывать.

Когда англичане еще воевали в союзе с нами против немцев, в Англии выходили книги о русской душе — так они и назывались: «Душа России» — когда многие англичане думали, что революция близка, живая вода на Россию, увлост ее силы на олимпийский журнал и в нем такая картина из русского быта: много снегу, на заднем плане — маленький коттедж, а на переднем — идущая к нему девочка, в шубке и со связкой учебников в руке; и коттедж этот, как оказалось при ближайшем рассмотрении, изображал русскую сельскую школу, а девочка — ученицу этой школы, и имела эта девочка, как гласила подпись под картинкой, следующее пространное для девочки имя: «Петровна». А вскоре после того я виделся с покойным Коношным. И Коношкин, убитый так бессмысленно, так скотски, с тем зоологическим спокойствием, которое не раз подчеркивалось мною в моих изображениях русских убийств и которое казалось таким возмутительно выдуманным чуть не всем моим тогдашним читателям, — Коношкин, с которым мы разговорились о русском народе, сказал мне со своей обычной корректностью и на этот раз с необычайной для него развязностью: — Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными что ли...

И, помню, с каким удивлением и почти ужасом думал я, возвращаясь домой после этого разговора: — Да что ж это такое? Чем это лучше «Петровна»? Англичанам, конечно, отчасти простительна «Петровна», но нам? Какое младенческое неведение или нежелание ведения относительно своего собственного народа, который как раз теперь призван и участвует в судьбах Европы, и о горьчей, сознательной готовности которого участвовать в них уже сказано искренними Коношными и сотнями других, гораздо менее искренних, столько ошибочных и просто обманчивых слов! — Нет, это нам даром не пройдет!

И точно — не прошло. От копейной свечки Москва сгорела. В домах деревянных, крытых соломой, играть огнем особенно опасно.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МАСТЕРА



● Василий АКСЕНОВ
● Сава СОКОЛОВ с дочерью
● Владимир ВОЙНОВИЧ
Фото Валерия ПЛОТНИКОВА